

ВЛАДИМИР  
НАБОКОВ

*Волшебник*

18+

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Владимир Набоков

**Волшебник**

«Азбука-Аттикус»

1939

## **Набоков В. В.**

Волшебник / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус»,  
1939 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-03884-4

Повесть «Волшебник» Набоков назвал «первой маленькой пульсацией „Лолиты“». Эта повесть – предшественник знаменитого романа – была создана Набоковым в 1939 г. на русском языке, однако увидела свет значительно позднее. Автор вспомнил о ней лишь через 20 лет, когда разобрал архив: «Теперь, когда связь между мной и „Лолитой“ порвана, я перечитал „Волшебника“ с куда большим удовольствием, чем то, которое испытывал, припоминая его как отработанный материал во время написания „Лолиты“. Это прекрасный образчик русской прозы, точной и прозрачной...» При жизни автора повесть не была опубликована. Впервые читатели смогли оценить это произведение в 1986 г.: повесть вышла в свет на английском языке в переводе Дмитрия Набокова. Входя в очень небольшое число вновь открытой набоковианы, «Волшебник» является наиболее ярким примером той поразительной оригинальной прозы, которая вышла из-под пера Набокова-Сириня в его наиболее зрелые – и последние – годы романиста, пишущего на родном языке.

ISBN 978-5-389-03884-4

© Набоков В. В., 1939  
© Азбука-Аттикус, 1939

## Содержание

Первое примечание автора	5
Второе примечание автора	7
Волшебник	8
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Владимир Набоков

## Волшебник

*Верс*

### Первое примечание автора

1

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939-го или в начале 1940-го года<sup>2</sup>, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким-то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого-то ученого, набросала углем первый рисунок, когда-либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц<sup>3</sup>. Я написал его по-русски, т. е. на том языке, на котором я писал романы с 1924-го года (лучшие из них не переведены на английский<sup>4</sup>, и все они запрещены по политическим причинам в России<sup>5</sup>). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и, после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере, бросился под колеса грузовика. [В этом кратком пересказе сюжета Набоков называет имя своего героя: он размышляет о нем как об Артуре, наделяя его именем, которое, возможно, и встречалось в давно утраченных черновиках, но не упоминается ни в одном из известных манускриптов.] В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой<sup>6</sup>, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, два революционера-социалиста<sup>7</sup> и женщина-врач<sup>8</sup>; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-м году.

Девять лет спустя, в университетском городе Итака (в штате Нью-Йорк), где я преподавал русскую литературу, пульсация, которая никогда не прекращалась совсем, начала опять преследовать меня. Новая комбинация присоединилась к вдохновению и вовлекла меня в новую обработку темы; но я избрал для нее английский язык – язык моей первой петербургской гувернантки (1903 год), мисс Рэчель Оум. Несмотря на смесь немецкой и ирландской крови вместо одной французской, нимфетка осталась той же, и тема женитьбы на матери – в основе своей – тоже не изменилась; но в других смыслах вещь приняла совершенно новый вид; у нее втайне выросли когти и крылья романа.

---

<sup>1</sup> Отрывок из эссе «О книге, озаглавленной „Лолита“, изначально опубликованного по-французски в *L’Affaire Lolita*, Париж, Олимпия, 1957, и затем печатавшегося как Послесловие к роману.

<sup>2</sup> Из рукописи «Волшебника» было установлено, что это произошло в 1939 году.

<sup>3</sup> Отец не видел рассказа много лет, и его память несколько увеличила его длину.

<sup>4</sup> Позднее это было исправлено.

<sup>5</sup> Запрет оставался в силе до июля 1986 года, когда советская литературная верхушка, видимо, наконец поняла, что социалистический реализм и художественная реальность не всегда совпадают, и печатный орган этой верхушки совершил резкий зигзаг, объявив, что «пришло время вернуть В. Набокова нашим читателям».

<sup>6</sup> Мера предосторожности против воздушного налета.

<sup>7</sup> Владимир Зензинов и Илья Фондаминский.

<sup>8</sup> Мадам Коган-Бернштейн.

*Перевод Дмитрия Набокова*

## Второе примечание автора

9

Как я пояснил в статье, служащей послесловием к «Лолите», осенью 1939 года, в Париже, я написал новеллу – своего рода предшественницу «Лолиты». Я был уверен, что давным-давно уничтожил ее, но сегодня, когда Вера и я готовили дополнительные материалы для отправки в Библиотеку Конгресса, вдруг обнаружился один-единственный экземпляр рассказа. Моим первым шагом было отправить его (вместе со стопкой карточек, содержащих неиспользованные наброски к «Лолите») на хранение в Библиотеку Конгресса, но затем мне пришло в голову нечто другое.

Вещица представляет собой рассказ, занимающий пятьдесят пять машинописных страниц, написанный по-русски и озаглавленный «Волшебник» (“The Enchanter”). Теперь, когда творческая связь между мной и «Лолитой» порвана, я перечел «Волшебника» с куда большим удовольствием, чем то, которое испытывал, припоминая его как отработанный материал во время написания «Лолиты». Это прекрасный образчик русской прозы, точной и прозрачной, который при некотором старании может быть переведен на английский Набоковыми.

*Владимир Набоков*  
1959

*Перевод Алексея Скляренко*

---

<sup>9</sup> Отрывок из письма от 6 февраля 1959 года, в котором Набоков предложил «Волшебника» Уолтеру Минтону, возглавлявшему тогда издательство «Путнам». Ответное письмо Минтона выражало живой интерес, но, по-видимому, рукопись так и не была отправлена. В то время отец был погружен в перевод «Евгения Онегина», «Аду», киносценарий «Лолиты» и проверку моего перевода «Приглашения на казнь». Вероятно, он решил, что в его напряженном графике не найдется места для еще одного проекта.

## Волшебник

«Как мне объясниться с собой? – думалось ему, покуда думалось. – Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, – ибо и в мыслях допустить не могу, что причину боль или вызову незабываемое отвращение. Вздор; я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей (не просто безопасность, а права одиночания, или это – порочный круг с пальмой в центре?). Рассудком зная, что эвфратский абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опошлить то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, – сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, – *такие* мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному – сырая женщина-друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по-простому – знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова – и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому – очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все-таки разводить их по разным родам, или *то* – редкое цветение *этого* в Иванову ночь моей темной души, – потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств – если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно – и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая, точная и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате – тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, – и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все-таки – милость) и печальной усмешкой (все-таки – жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища – сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, – он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно для того, чтобы линии начинали дрожать и таять,

все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой – и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, – колотьба в груди – «а щекотки боишься?» – или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, суккуба так и не заметивших, он поражался и своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада глаз обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогубый, со слегка лысеющей головой и внимательными глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа – белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально-проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полуущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в —».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы-то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах, – прекрасно, – и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, – подумал он. – Кажется, придется пересесть».

Но тут-то взвывается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжеватых-русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность ее узкой, уже не совсем плоской груди, передвижение юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадание, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем-то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни – всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, – и, сойдя к нам на землю, выпрямившись с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, – и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной ей игрой света под лилово-зелеными деревьями.

«А дочка у вас, – заметил он бессмысленно, – уже большая».

«О нет, она мне ничем не приходится, – сказала вязальщица, – у меня своих нет – и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка подправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады, – нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», – ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающуюся тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, – и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горящие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног. «Улыбка рассеянности, – подумал он жалко, – но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

\* \* \*

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя – почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, – и он вообразил jovialного господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность – все так же jovialно – на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, – в других отрясах жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоревый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг...

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным вилянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вождением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбегалась, стремительно сгибая крупные колени), – или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты, задержать ее, что-то с ней сделать, – все равно что, но только бы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать – вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского приветствия ослабилась и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сиде-

нья розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей – мимо него – тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровье, конечно; а главное – прекрасная гимназия», – говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки», – сказала девочка.

«Нет, – ответил он, кашлянув, – это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями – в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка, – и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала, – чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку, – отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса, выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него выростала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стучаясь теменем, – к повешению наизворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или: «Да, знаете, бывает...» – но понимал слова собеседницы только тогда, когда девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуни, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией – покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что, давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться – чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распутившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно, – а мы люди небогатые, – словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным.

«Дело в том, – продолжал он без запинки, – что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я...» – конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это – часть собственной ноги или часть спрута.

Она явно обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас – квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо – и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколоток, и довольно высокие каблочки. Немножко замкнутая, пожалуй, живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов – и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка, – в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское – эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови – все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем – столь же разбитного и серого, как его жена, – так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа – одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание – даже такое! – невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка накренном ходу, что ей четырех комнат много, что она зимой переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкафчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок – поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообща качались, – «Слезь с постели, что это!» – и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкафчик покупает – за право входа в дом плата была смехотворная, – и, вероятно, еще кое-что, – но надо сообразить, – если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришлю за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим, – сказал тот, выходя в переднюю, – я мою благоверную рад бы сбывать всякому». – «А ты не зарекайся, – сказала жена, появляясь из той же комнаты, – когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим, – повторила вдова, – я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи – жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» – раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ошупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирющий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут – значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается, – но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем, – но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку, – вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда кончено, – где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно, и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый

угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу, – рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака – тем более что до сих пор он – совершенно правильно – едва ее замечал (в скрывании молний был мастер), – вот гнилые старички, те – точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок, – а все-таки он семенил с подарком, слушаясь тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк – немножко конфет, кажется неплохих, – ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась – была, видимо, более польщена, чем удивлена, – и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня...»

«Нет, завтра утром, – продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь. – Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий». И, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик, – а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

\* \* \*

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказывал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже – про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появляющуюся в доме для стирки и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель – журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный, и достаточно было увидеть непонятно-небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по-жеребьячи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных, позах была

снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла *теперь* заслужить мужское внимание, – и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что-нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но, понимая, что материал, помимо своего назначения, просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое-как заменен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все-таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась – и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков, – но пока что вздохнул и переменял течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он раза два подходил к окну, словно в каком-то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкафчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимость манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносивших вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что, – сказала она, – пойдите и хорошенько выспитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо, – ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые. – Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться – от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем, – через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака). – Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, – иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, – что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям, – а теперь я требовательна ко всему: к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем – особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки; причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна:

одну половину моей ренты съедает болезнь, другую – долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам в мужья *мне* годитесь, – видите, я делаю ударение на „мне“, – то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать *ее* привычки, *ее* причуды, *ее* посты и правила, а все ради чего? – ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.